

АЛЕКСЕЙ НЕБОХОДОВ

БЕСПЛАТНО У НАС ТОЛЬКО ЛЕЖАТЬ

Алексей Небоходов

Бесплатно у нас только лежать

«Автор»
2026

Небоходов А.

Бесплатно у нас только лежать / А. Небоходов — «Автор», 2026

Ваша смерть станет товаром раньше, чем к подъезду доберётся труповозка. Адрес покойника продают за тысячу рублей, а право забрать тело без очереди — в тамбуре морга.Эта книга о том, о чём молчат даже на поминках: что делают с телом, когда человека в нём уже нет. Его растворяют в щёлочи и сливают в канализацию, мелют с мукой на корм грифам, выпивают пеплом в похлёбке, кладут компостом под яблоню, выстреливают из пушки и хоронят сидя, в яме с водой.Покойников здесь женят: умершему холостяку искали невесту, в древности её убивали, позже нанимали за тёлку. С покойниками ложатся в постель в том самом смысле: индийские аскеты-агхори занимаются ритуальным соитием с мёртвыми у погребальных костров ВаранасиЗакрыв книгу, вы впервые спросите близких о том, о чём боялись спросить. Это неловко, но обойдётся дешевле, чем потом гадать.

© Небоходов А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть I. Путь тела 5
Глава 1. Где она вас застанет? 5
Глава 2. Звонок, который продают 9
Глава 3. Морг 12
Глава 4. Похоронное бюро 15
Глава 5. Кладбище 18
Глава 6. Кладбища, которых нет 21
Глава 7. Крематорий 24
Глава 8. Невостребованные 27
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Алексей Небоходов
Бесплатно у нас только лежать

Часть I. Путь тела

Глава 1. Где она вас застанет?

Смерть может застать человека где угодно. Утверждение это не философское, а бухгалтерское, и подтверждают его миллионы строчек в журналах регистрации. Больничная палата, вопреки ожиданиям, принимает далеко не всех: в 2023 году в российских стационарах умерло около 700 тысяч человек — примерно 38 % от всех умерших за год. Остальным пришлось довольствоваться другими местами.

Дом и собственная постель считаются идеальным вариантом, о такой смерти просят в молитвах: под своим одеялом, с чашкой чая на табуретке и недочитанной газетой. Хуже, если событие случается в ванной — там поскальзываются или не выдерживают жары, от которой расширяются сосуды. Щеколда закрыта изнутри, и дверь потом приходится выламывать, а сосед снизу жалуется на протёки.

Иногда земной путь заканчивается в очереди в поликлинику, на синем пластиковом стуле, под табло с номерками, в двадцати метрах от кабинета терапевта. Люди в коридоре потом ещё долго не могут решить, расходиться им или ждать. Бывает, в бане человек остаётся на верхней полке, с веником в руке, а компания сначала смеётся, что Петрович задремал.

Случается, в самолёте над океаном, за несколько часов до посадки, бортпроводница объявляет: «Есть ли на борту врач?» Но и врач не помогает. Одна такая история попала в новости: австралийцы Митчелл Ринг и Дженнифер Колин летели из Мельбурна в Доху, когда на их глазах умерла пассажирка. Экипаж усадил тело на свободное кресло рядом с парой и накрыл одеялами. Пересесть им не разрешили, и четыре часа до посадки супруги провели бок о бок с покойницей.

Смерть за рулём страшна вдвойне, потому что автомобиль продолжает ехать и грозит прихватить ещё кого-нибудь покойнику за компанию. Порой юбилей у родственников обрывается трагическим событием между горячим и тортом, под «Ой, мороз, мороз», и торт через два дня выбрасывают несъеденным.

Смерть в чужой постели добавляет к горю позор, неудобные вопросы, оправдания и враньё. Женщина рядом с усопшим любовником не знает, вызывать скорую или сначала одеться, а после сомневается, должна ли она идти на похороны. Иногда всё случается на даче, между грядками, с тяпкой в руке, и деда находит внучка, которая прибегает спросить про велосипед.

Бывает, сердце не выдерживает на похоронах другого человека, и прощание приходится начинать заново. Временами люди умирают в электричке до Петушков, на предпоследней станции, в лифте между этажами, в супермаркете, у холодильника с молочкой, в кресле стоматолога. Последним адресом может оказаться гостиница незнакомого города, где вашего имени не знает никто, кроме администратора и его базы данных.

Опись получается смешная, но смеяться над ней почему-то не хочется. Удобного момента для смерти не бывает, и декорации остаются такими, какими их застал покойник в свою последнюю минуту: человек сидит в майке с пятном, в холодильнике стоит открытая банка шпрот, в телефоне висит неотправленное «Буду через час». Шлёпанцы у порога, недопитый кефир на столе, включённый телевизор, который проработает ещё сутки, пока в дверь не забарабанят соседи.

Завещание, гроб и эпитафию можно выбрать, о кремации можно договориться заранее и даже её оплатить. Место — не выберешь, а решает потом всё именно оно: кто вас найдёт и когда, какая служба приедет первой, будет ли вскрытие, в какой морг вас увезут и сколько всё это будет стоить. У квартиры, улицы, больницы и заграницы четыре совершенно разные истории, постоянной величиной остаётся сам покойник.

Начнём с собственной квартиры, там всё тянется дольше всего. Днём в будни на констатацию смерти приходит врач из поликлиники, ночью и в праздники приезжает скорая, а полицию вызывают в любом случае. Участковый должен убедиться, что признаков насильственной смерти нет: он осматривает тело, опрашивает соседей и составляет протокол.

Труповозка, вызванная в два часа ночи, может приехать к восьми утра. Всё это время тело, накрытое простынёй, лежит там, где человека постиг конец, а семья сидит на кухне.

Если покойный лечился в поликлинике от хронической болезни и причина смерти понятна, свидетельство о смерти по форме 106/у выпишет врач, который его наблюдал, и без вскрытия можно обойтись. При внезапной смерти в пятьдесят лет тело поедет в судебно-медицинский морг, и близкие узнают, что такое ожидание результатов гистологии, то есть исследования тканей под микроскопом.

Если же смерть застала вас на улице, и рядом нет никого, кто назвал бы вашу фамилию, тело увозят в судебный морг как принадлежащее неустановленному лицу. Без паспорта в кармане вместо имени вам присвоят номер, а неопознанных, выждав положенный срок, похоронят за счёт муниципалитета на безымянном участке.

Пропавших по заявлению родных ищут одни люди, неопознанные тела сверяют другие, и сведения сходятся не всегда. Тридцатилетний уфимец Александр Мартыненко пропал 26 августа 2017 года, а 1 сентября его тело достали из реки Белой. Почти месяц оно пролежало в морге неопознанным, пока волонтёры прочёсывали лес. Проверить морг матери в конце концов посоветовала Олеся из отряда «ЛизаАлерт». Следователь назвал это накладкой: сотрудники «Бюро несчастных случаев», которые сверяют тела с заявлениями, были в отпуске.

В больнице всё происходит быстрее, потому что всё расписано регламентом. Врач констатирует смерть и пишет посмертный эпикриз — итоговую запись в истории болезни, а тело на лифте спускают в патологоанатомическое отделение, обычно в подвале того же корпуса или через двор.

Вскрытие здесь положено всем. Закон позволяет отказаться от него по религиозным или иным мотивам посредством письменного заявления родных или по воле самого умершего. Но если у врачей есть хоть один повод для вопросов, такое заявление не примут: при подозрении на насильственную смерть, при неясной причине, если человек пробыл в больнице меньше суток, если он умер после медицинского вмешательства, от передозировки, от инфекции или от рака, не подтверждённого при жизни.

Если ваш покойник отдал Богу душу за границей, платить за всё придётся самим. Консульство не оплачивает ничего, оно только оформляет свидетельство о смерти и помогает с бумагами. Тело бальзамируют, запаивают в цинковый вкладыш и отправляют в багажный отсек в деревянном ящике. За такой рейс из Германии или Чехии в Россию берут от двух с лишним тысяч евро, из Норвегии — от пяти, оплата перевозки урны начинается с двухсот пятидесяти.

Житель Кунгура Денис Новиков разбился на скутере во Вьетнаме в конце декабря 2025 года. 3 января он умер в больнице Хошимина, не приходя в сознание. Выдать его отказались, пока семья не оплатит лечение, и счёт, по разным данным, составлял от одного до почти двух миллионов рублей. Родные объявили сбор, а Новикова решили кремировать на месте и вернуть в Кунгур в виде праха в урне.

Но при любом раскладе ритуальный агент нередко звонит раньше дальней родни: ваша смерть становится товаром ещё до того, как к подъезду доберётся труповозка. Сведения о ней проходят через диспетчера скорой, дежурного полиции и санитара перевозки, и на каждом

этапе за эти сведения платят. В московском районе Хорошёво-Мнёвники трое полицейских заработали так за полгода 125 тысяч рублей — и получили от семи до восьми лет строгого режима.

Дальше всего эта история зашла в Саранске. Судмедэксперт Михаил Таганов получил от ритуальщиков больше 625 тысяч рублей, но в сентябре 2025 года Верховный суд его оправдал: рядовой эксперт не обладал организационно-распорядительными полномочиями, а значит, и взяток брать не мог.

Я впервые увидел мёртвого человека в шесть лет. Хоронили двоюродного деда, с которым при жизни я встречался дважды. Гроб стоял в комнате на двух табуретках разной высоты, и с одной стороны под домовину подложили том Большой советской энциклопедии, кажется, на букву «С». Эту книгу я помню отчётливее, чем лицо покойника.

Взрослые занимались своими проблемами. Тётка в новом кримпленовом платье обижалась, что её посадили не с той стороны. Кто-то вполголоса подсчитывал, сколько кто дал на похороны: сорок рублей от Ниночки, двадцать пять от соседей, а старший сын не дал ничего, потому что «он же организовывал».

Две сестры не разговаривали четырнадцать лет и продолжали игнорировать друг дружку над гробом, аккуратно обходя одна другую. Пахло борщом из кухни, гвоздиками и ещё чем-то сладковатым, незнакомым. Соседка громко объясняла, что венок надо было брать не этот, а с лентой пошире, за восемь рублей.

Зеркало в прихожей завесили простынёй, часы с маятником остановили. Так было положено, а почему — объяснить не мог никто.

Дед тем временем лежал, и в разговорах взрослых его не было вовсе. О нём говорили тем же тоном, что и о стульях: во сколько вынос, кто понесёт и куда поставить. Я смотрел на его руки, сложенные неправильно, слишком высоко, почти под подбородком, и детским, ещё не оформленным в слова чувством понимал, что этого человека здесь нет.

Вместо него осталось тело в гробу, то есть предмет, вокруг которого шла сложная и очень оживлённая хозяйственная деятельность. Гроб мешал ходить. Его надо было вынести до двух, потому что на это время заказали автобус, а контора на кладбище закрывалась в четыре.

С этого и началась книга. Вопрос у неё один, простой до неприличия: что именно делают с телом человека, когда самого человека в нём уже нет?

Как пережить утрату и что ждёт дальше, расскажут другие жанры и другие люди. Меня же интересует буквальное: кто забирает тело, кто его моет, чем зашивают, что вынимают, сколько это стоит и по какому закону. Кто выдаёт медицинское свидетельство о смерти и почему без него не дадут гербового свидетельства, а без гербового не похоронят. Кто проверяет, что в урне — прах именно вашего близкого.

Между последним вдохом и погребением обычно проходит от трёх до пяти суток, а то и больше. За это время тело побывает, пожалуй, в десятке чужих рук. Большинство из нас не знает, ни чьи это руки, ни сколько их, ни как они называются в штатном расписании.

Морали в книге не будет. Читателю я обещаю три вещи: я не стану объяснять, как правильно скорбеть, что прилично, а что кощунственно, и почему кремация лучше или хуже погребения. Потому что это ваше дело.

Утешительных формулировок тоже не будет. Там, где принято говорить «его подготовили», «провели санитарную обработку», «сделали косметическую реставрацию», я напишу, что именно делают, каким инструментом и в каком порядке. Деликатность тут ни при чём: эвфемизм нужен, чтобы продать услугу, которую вы постеснялись уточнить.

И глаза я отводить не стану. Там, где мне самому было тяжело смотреть, я так и признаюсь, но опишу, что увидел.

Практический совет здесь ровно один: сегодня вечером выясните, где лежит паспорт того, кого вам, скорее всего, придётся хоронить, и чего он хочет сам — земли или огня. Спросите прямо. Это неловко, но обойдётся дешевле, чем потом гадать.

Глава 2. Звонок, который продают

Между последним вздохом Николая Петровича и звонком в дверь прошло сорок минут. Я знаю это совершенно точно, потому что его дочь всё это время смотрела на часы. На скорой обещали, что врач приедет к одиннадцати вечера, бригада задерживалась, участковый тоже не появился, и Лена то и дело хваталась за телефон. Позвонили раньше одиннадцати, только не по телефону, а в дверь.

На пороге стоял мужчина лет сорока в чёрном пальто, это в мае. Под мышкой папка, лицо невозмутимое, как у человека, который проделывает такое по шесть раз в сутки. «Здравствуйте. Это восьмая квартира? Николай Петрович Старостин здесь… проживал? Примите соболезнования». Потом, за кухонным столом, Лена разглядела в папке ламинированный прайс и бланк договора, заполненный до половины. Дата, время и адрес уже стояли, оставалось вписать фамилию.

Лена пересказывала мне эту сцену трижды и каждый раз спотыкалась на одном: откуда он знал имя? Отец умер дома, при ней, больше никого рядом не было. Она набрала 103, продиктовала диспетчеру адрес и больше никому не звонила. Брат в Твери узнал обо всём через час. Незнакомец в пальто узнал раньше брата.

До ответа я добрался позже и совсем в другом месте.

Ещё один вариант этой сцены я видел в пять утра у ворот городской больницы. Я ждал санитара морга, обещавшего показать мне ночную приёмку тел, и в тёмной куртке ничем не выделялся среди остальных. Караулил там, впрочем, не я. Трое мужчин сидели в машинах с заглушёнными двигателями, пили кофе из бумажных стаканчиков и болтали ни о чём. Один вышел покурить, принял меня за своего и пожаловался: «Ночь тухлая, две всего».

Из приёмного покоя вышла женщина в пуховике, наспех накинутом поверх домашнего. Толпой к ней никто не бросился, у агентов своя очередь и свой порядок. Подошёл один, сказал: «Примите соболезнования», и вскоре они уже шли к его машине, он придерживал её под локоть.

Меня тогда поразило — и поражает до сих пор, что она ничего не спросила: ни кто он такой, ни откуда знает. Просто пошла. Я долго списывал это на шок. И ошибался.

Первое, что чувствуют родственники, это благодарность. Облегчение почти физическое: наконец появился человек, который знает, что делать. Сами они не знают ничего. Инструкции нет, нужного номера нет, непонятно, куда звонить и что делать с телом, которое лежит в соседней комнате и уже не папа.

И тут появляется спокойный мужчина в пальто. Говорит коротко, по делу и точно знает, что за чем следует. Среди людей, у которых всё валится из рук, он единственный, у кого ничего не валится.

Вся индустрия держится не на горе, а на этой благодарности за наведённый порядок. Поэтому первые сорок минут ценятся в ней дороже всего. Во сколько именно, в одном случае установил суд.

Ишимбай — нефтяной город в Башкирии, шестьдесят с лишним тысяч жителей. Местный салон «Память» с 2015 по 2017 год получал сведения об умерших прямо из дежурной части районного отдела полиции.

Начальник дежурной смены и оперативный дежурный, получив сообщение о трупе, передавали его не только следователям. Директору салона по СМС или в WhatsApp уходило второе сообщение: адрес, по которому лежит покойник.

Тариф — тысяча рублей за покойника, поштучно. За два года, по сообщению прокуратуры, один дежурный заработал так восемьдесят тысяч, другой девяносто семь.

Меня в этой истории удивляет будничность суммы. В 2016 году тысячи рублей хватало на два похода в магазин. Такую цену берут за одолжение: ну что мне, жалко адрес переслать?

Дежурные не выносили вещдоков и не крышевали склады. Они пересылали то, что и так лежало перед ними на бумаге. В этом и гениальность схемы: переступать через себя не нужно, потому что переступать, собственно, не через что.

Обошлось им это недорого. Обоих уволили ещё во время следствия «за проступок, порочащий честь сотрудника полиции», а Ишимбайский городской суд дал каждому по три года условно с испытательным сроком в два года. Одному добавили штраф в восемьдесят тысяч — ровно столько, сколько он получил от салона.

Ещё раньше такой же срок и штраф получил их бывший сослуживец. Московские полицейские из первой главы за то же самое поехали в колонию строгого режима, так что расценки на наказание в стране разнятся не меньше, чем на наводки. А директор «Памяти», который все эти годы переводил деньги полицейским, среди обвиняемых, насколько я могу судить по открытым сообщениям, не значился.

Похороны в небольшом башкирском городе обходились тогда семье тысяч в тридцать пять: гроб, венки, катафалк, копка могилы, одежда, автобус для родни и поминальный обед, если контора бралась и за него. Гроб нередко продают с двукратной накруткой, а наценка на «комплекс услуг под ключ» бывает какой угодно.

Тысяча рублей при таком чеке — меньше трёх процентов. Дешевле клиента не купишь нигде, тем более что сообщение дежурного даёт эксклюзив, а он дороже любого «лида» и «тёплого клиента». Ты приезжаешь первым и единственным в квартиру, где ещё никто ничего не решил.

В Москве, по словам самих агентов, за наводку платят в среднем пятнадцать-двадцать тысяч, но и заказ там стоит от сорока до ста. Ишимбайская тысяча на этом фоне выглядит провинциальной скидкой.

Ничего особенного в Ишимбае нет, кроме того, что здесь всё аккуратно записано в материалах дела. Люди с небольшой казённой зарплатой сидят везде, где проходит весть о смерти.

Теперь понятно, откуда человек в пальто знал имя Николая Петровича. Принимая вызов, диспетчер скорой спрашивает фамилию и возраст усопшего, и Лена наверняка продиктовала их вместе с адресом. Всё это легло в карту вызова, а оттуда, скорее всего, ушло дальше. Агенту, в отличие от бригады скорой, было куда спешить.

В больнице смерть идёт другим путём. Первым о ней узнаёт приёмный покой, и медсестра видит, как родственникам выносят вещи, как той женщине в пуховике. Санитар в морге знает не только, кто умер, но и кто из родни уже приехал, а кто ещё нет.

Никакой услуги эти люди не продают. Они продают доступ к человеку в том редком состоянии, когда он не способен выбирать, сравнивать и торговаться. Такой доступ чего-то стоит, только пока он у одного: если агентов двое, товар почти обесценивается. Поэтому платят прежде всего за то, чтобы сведения больше никто не получил.

Я несколько раз спрашивал людей, прошедших через это: почему вы никуда не позвонили, не написали жалобу, не рассказали хотя бы знакомым? Учительница, похоронившая мужа, пожала плечами: «А на что жаловаться? Он же всё сделал». Пенсионерка, хоронившая сестру, вопроса не поняла: «Так ведь сами бы мы не справились».

Похороны, пожалуй, единственная сделка в нашей жизни, где не остаётся времени сравнить цены. Квартиру выбирают месяцами, машину — неделями, а гроб — в тот же день, когда произошло несчастье, и выбирают его люди, которые час назад закрыли глаза матери, мужу или сыну. Люди с двумя высшими образованиями и привычкой торговаться на рынке в свой чёрный день соглашаются на всё без единого вопроса.

Торговаться у гроба стыдно, хотя вслух этого правила никто не произносит. Спросить «А почему так дорого?» — значит признать, что у этой смерти для тебя есть цена, выше которой ты не пойдёшь. А взять сосновый гроб вместо дубового — это уже сэкономить на ушедшем отце.

Разница между ними в прайсе небольшого города — в разы, и платят не только за дерево, но и за обивку с золотой каймой, которую в день похорон засыплют землёй. Продавцу не приходится ничего объяснять, ему хватает короткой паузы и чуть опущенных глаз.

Отказать агенту, который уже приехал, кажется и вовсе подлостью: он откликнулся первым, приехал единственным и назвал покойного по имени. Запугивать никого не нужно. Купленное сообщение приводит агента к двери, а дальше хватает благодарности и того, что в первые часы после смерти близкого человек считать не в состоянии.

Лена подписала. Агент открыл прайс сразу на середине, слов «дорого» и «дёшево» не произносил, говорил «как принято». На вопрос, нельзя ли попроще, кивнул: «Конечно. Многие так делают». Больше она не спрашивала. Вышло девяносто четыре тысячи. Брат из Твери сказал только: «Ну, папа заслужил». Через месяц Лена узнала, что в других конторах то же самое стоило тысяч на тридцать дешевле. Злиться на агента у неё так и не вышло.

Семье потом, строго говоря, не на что было жаловаться: тело забрали аккуратно, могилу выкопали, автобус пришёл вовремя, обед накрыли. Переплата есть, но за переплату не судят. Цена договорная, подпись стоит, к качеству претензий нет.

Преступление случилось раньше, когда деньги ушли дежурному, а семья ещё ничего не успела понять. В доме покойного о них не знают и никогда не узнают. Рассказать могли бы только те, кто дал и кто взял, но оба молчат не хуже родственников.

Жалоб поэтому почти не бывает, и такие дела начинаются иначе. Ишимбайское возбудили по материалам собственной безопасности республиканского МВД. Остальные, насколько можно судить, всплывают случайно: из прослушки по другому поводу, из ссоры двух салонов, из обиды агента, которого оттеснили от заказов.

Человек, приехавший раньше всех, приехал за заказом, и никакой закон не обязывает подписывать с ним договор. Тело из квартиры увезут и так, а с остальным можно подождать хотя бы до утра. Даже там, где хоронят по мусульманскому обычаю в тот же или на следующий день, как во многих семьях Башкирии, времени хватит, чтобы обзвонить две-три конторы.

Телефон городской специализированной службы разумно узнать заранее, в спокойное время, а если такой службы в городе нет, то хотя бы номера двух контор с известными ценами. Положить их стоит туда, где найдёшь в панике: в контакты или под магнит на холодильнике. Конторам только на руку, что о таком номере мы вспоминаем, когда человек в чёрном пальто уже стоит в коридоре со своей папкой.

Глава 3. Морг

Главный вход в больницу украшен козырьком, клумбой и табличкой с часами приёма. Дверь, которая меня интересует, находится с торца здания, и к этой двери не ведёт ни одна указательная стрелка. Автомобили к ней подъезжают задом, и асфальт перед ней всегда немного раздолбанный от колёс.

Я стоял у этой двери в феврале, в девять утра, и ждал, пока санитар докурит. Он затушил сигарету о бетонный бортик и сказал: «Заходите, только пальто не на тот крючок, там халаты».

Помещение оказалось светлее, чем я думал. Стены до потолка выложены белым кафелем с голубой полосой по верху. Клали его, судя по виду, ещё при Брежневе, и с тех пор отмывают до блеска.

Запах совсем не тот, которого боишься заранее. Формалин режет нос и выбивает слезу, хлорка ложится поверх, и вместе они напоминают не о смерти, а о ремонте в бассейне. Сладковатым трупным духом тянет только у самых дверей холодильника.

Камеры металлические, с выдвижными полозьями, как в промышленной пекарне. Полозья скрипят, и этот скрип я помню отчётливее всего остального. Внутри держат температуру от плюс двух до плюс четырёх, как в бытовом холодильнике, и это одна из немногих цифр, которые здесь соблюдают строго.

Бирку в этом морге вешали на большой палец правой ноги умершего. Клеёнчатая или картонная, на ней фамилия, инициалы, номер и дата. Номер важнее фамилии: однофамильцев за месяц набирается до трёх. Те же цифры дублируются в журнале приёма, где рядом записаны рост, одежда и вещи: часы, крестик, ключи от квартиры, которую человек утром сам запер.

Вскрытие я видел дважды и опишу его без эвфемизмов: обтекаемые слова тут и есть главный обман. Разрез идёт одной линией от подбородка до низа живота. Нож секционный, с широким лезвием, и работа эта скорее плотницкая, чем ювелирная. Грудину раскрывают кусачками, похожими на садовые.

Органы прозектор вынимает сразу комплексом: язык, глотку, лёгкие, сердце, печень, желудок, кишечник, почки. Всё это выкладывают на металлический стол с бортиком и стоком и потом взвешивают.

Сердце кладут на обычные весы, какие стоят в овощном отделе магазина. Нормальное мужское весит около трёхсот граммов, у алкоголика с кардиомиопатией выходит пятьсот. Врач называет цифру вслух, помощник пишет в протокол.

Печень режут ломтями, как буханку. С мозгом так: кожу головы надрезают от уха до уха, отворачивают скальп и подпиливают свод черепа по кругу. Потом крышку возвращают на место и натягивают скальп обратно.

Тело зашивают грубо, толстой иглой и шпагатом, редким швом «через край», стежок в полтора сантиметра. Стараться незачем: шов всё равно прикроет воротник рубашки, которую привезут родственники.

После этого начинается работа, которую я назвал бы милосердной. Санитар берёт лицо покойника в руки и возвращает ему выражение. Закрывает глаза, иногда подкладывая под веки вату. Смыкает челюсть и закрепляет её, чтобы рот уже не приоткрылся. Разглаживает складку у губ, чтобы она не читалась как боль.

Через час дочь увидит в прощальном зале спокойное лицо, аккуратный воротник и скажет: «Как будто спит».

Про эту дверь с торца я думаю до сих пор. В стране умирает около миллиона восьмисот тысяч человек в год, и мало кто из них минует такую дверь: даже умерших дома обычно везут сюда. Массовее учреждения в жизни человека, по-моему, просто нет.

А живые о нём не знают почти ничего: ни про весы, ни про скрип полозьев, ни про то, кто и зачем разглаживает складку у губ. За это незнание платят самыми настоящими деньгами. Суммы все примерно представляют, вслух их не называет никто.

Спросите работника любого морга, сколько стоит обмыть и одеть покойного, и он ответит: это входит в комплекс. И не соврёт: платить за это не нужно.

Выгоревший листок с перечнем бесплатного иногда висит в коридоре над батареей, на уровне колена, и читать его приходится присев. Потом человек в халате, не глядя в глаза, скажет: «Ну, вы же понимаете, побрить надо, он трое суток лежал, щетина. И костюм тесный, вдвоём тянуть придётся». Вы достанете кошелёк, потому что торг в такую минуту кажется торгом о цене отца.

Однажды я видел этот разговор со стороны, из пустого вестибюля. Женщине было лет пятьдесят, в руках пакет с вещами: рубашка, брюки, новые носки и, непонятно зачем, галстук. Санитар перебрал пакет и покачал головой: «Галстук не нужен, шею не открываем». Она не поняла, но кивнула.

Он назвал цифру, которую я не расслышал, и она отсчитала купюры прямо на подоконнике, быстро и почти стыдливо, будто правила нарушала она. Квитанции, разумеется, не было. Деньги одним отработанным движением ушли в карман халата.

Через минуту она его уже благодарила. Вот это меня тогда и поразило.

Санитар, который водил меня по моргу, о деньгах сказал одно, уже у двери: «Никто не просит, сами суют. Не возьмёшь — обидятся, решат, что отцу хуже сделаешь. Бесплатно у нас — только лежать».

Прейскуранта на стене нет, он существует. Своя цена есть у бритья и одевания, за которые платить вообще не нужно. Есть она у грима, которым замазывают трупные пятна, и у «приличного вида» после автодорожной травмы, когда собирают то, что ещё собирается; обе услуги законно оформляют в кассе, но чаще их обсуждают в коридоре. Сдвинуть выдачу, чтобы прощание назначили не на восемь утра, а на удобные одиннадцать, тоже стоит денег. И есть главная услуга, которая не значится нигде: звонок.

Торговлю сведениями о смерти я уже описывал. У морга тут своя особенность: агент, получивший звонок отсюда, начинает разговор с родственниками словами: «Здравствуйте, я из ритуальной службы при морге». Человеку кажется, что всё официально и выбора нет. Санитару наводка приносит несколько тысяч, а при зарплате в тридцать тысяч деньги это заметные.

Почему эта схема переживает любые проверки, я думал долго, и ответ вышел неприятный. Человек у гроба — единственный покупатель на свете, у которого нет ни выбора, ни времени. От переплаты вы не откажетесь: отказаться — значит поскупиться на мать. На «достойные» проводы в последний путь дорого человека. И жаловаться потом не пойдёте, потому что жалоба на того, кто разгладил складку у её губ, покажется вам кощунством.

На рынке любой покупатель может сказать: «Я подумаю» — и уйти. Здесь такого варианта нет, и обе стороны это прекрасно знают.

Пандемия устроила этой торговле проверку. Осенью 2020 года в таганрогском ковидном госпитале сняли на видео мешки с телами в коридоре, а глава администрации Андрей Лисицкий назвал ролик вырванным из контекста.

Контекст стал ясен через год. В конце ноября 2021 года журналисты насчитали тринадцать тел на бетонном крыльце у служебного входа в городской морг. Мешки местами порвались, от прохожих их прикрыли рекламными баннерами, таблички с фамилиями размыл дождь.

Рефрижератор во дворе работал на пределе и всё равно не держал положенных градусов. Секционный стол внутри был один. По норме на нём вскрывают два тела в день, вскрывали тридцать.

Снаружи стояла очередь живых: по справке, по записи, по звонку, иногда с ночи. Одна горожанка называла свой номер — двухсотый. Ковидных хоронили в закрытых гробах, и родственники так и не увидели лиц умерших близких.

Право не ждать в Таганроге, как выяснилось, тоже продавали, только в другом учреждении. В городском отделении бюро судмедэкспертизы заведующая Оксана Терземан и две её подчинённые с начала пандемии наладили то, что следствие назвало системой. С родственников брали за всё: за ускорение выдачи тела, за место в очереди, за обмывание и одевание, за то, чтобы тело «подготовили по-человечески», за справку без трёхдневного ожидания.

Родственники рассказывали следствию, что обмывание стоило от пяти до семи тысяч, выдача вне очереди — десять, справка в тот же день — столько же. Договаривались в тамбуре, деньги передавали вместе с пакетом одежды для покойного. Одной семье назвали двадцать тысяч за то, чтобы тело отдали в положенный церковью срок, а не через неделю.

Сумму, прошедшую через эти руки, обвинение назвало приблизительно: около семидесяти миллионов рублей. Семьдесят миллионов за время пандемии в одном городском морге. По версии следствия, деньги внутри не оставались, часть уходила выше, в областной минздрав. Если так, заведующая была в этой схеме исполнителем с самого нижнего этажа. Суд дал ей пять лет, двум подчинённым — три с половиной и два с половиной года.

Читая приговор по этому делу, я ловил себя на том, что никакого удовлетворения не чувствую. Пять лет получил человек, а конструкция осталась такой же, как была. Уберите эту женщину из кабинета, посадите туда любую другую — и через месяц всё начнётся заново: в устройстве самой схемы никто ничего не тронул.

Коррупцию в моргах эпидемия не придумала. Она существовала и раньше. Просто поток вырос впятеро, а правил как не было, так и не появилось, и тариф просто перестал прятаться — не было времени на реверансы.

Последнюю услугу, которую государство оказывает человеку, его семья получает в единственном месте, где не работает ни одна привычная защита. Свидетелей нет: родственников внутрь не пускают, а покойник уже ничего не расскажет. С ценами то же самое — листок в коридоре перечисляет бесплатное, а за что платят на самом деле, не написано нигде. Порядок выдачи тела описан так расплывчато, что любое ожидание можно списать на «объективные причины», а любое ускорение выдать за дополнительную любезность.

Где нет чётко прописанных правил, там торгуются, и морг для этого подходит идеально. Происходящее внутри прячет казённая дверь, а остальное доделываем мы сами, потому что заглядывать за эту дверь не хотим.

Средства давно известны, и большой реформы для них не нужно. Прейскурант должен быть печатным, с бесплатным минимумом, и выдаваться родственникам на руки под подпись. Время поступления и выдачи тела стоит записывать в систему, которую видит семья. Сотрудникам морга надо запретить любые дела с ритуальными фирмами и любые звонки им о смертях, а за нарушение увольнять, выговора тут мало. И родственник должен получить право войти и увидеть, если нет прямого эпидемиологического запрета.

Пока этого нет, каждый из нас однажды подойдёт к двери с торца больничного корпуса с пакетом одежды и будет договариваться с человеком в халате один на один, а потом отсчитывать купюры на подоконнике.

Глава 4. Похоронное бюро

В начале октября 2023 года жители маленького городка Пенроуз на юге штата Колорадо (США) стали звонить шерифу. Обычно шерифу звонят из-за шума или чужой машины у дома, а тут жаловались на запах. Тянуло уже несколько недель, и сначала соседи грешили на септик. Пахло от невзрачной конторы, где раньше сидели окружные чиновники, потом бухгалтер, потом работала студия йоги. Чиновнику штата новый хозяин объяснил запах тем, что занимается таксидермией.

Следователи нашли внутри сто восемьдесят девять тел. Они лежали почти в дюжине комнат, включая ванную, местами так высоко, что загораживали двери. Некоторые пролежали здесь с 2019 года. Холодильника в здании не было ни одного.

Здание принадлежало Джону и Кэри Холлфорд, владельцам похоронного дома Return to Nature, то есть «Возвращение к природе». Фирма обещала экологичные похороны: никакого формалина, никакого лакированного дуба, тело просто возвращается земле. Идея красивая, я и сам в неё верю. С клиентов Холлфорды взяли около ста тридцати тысяч долларов, от государства получили почти девятьсот тысяч ковидной помощи для малого бизнеса. Деньги уходили на поездки в Лас-Вегас, криптовалюту, украшения от Tiffany, лазерную коррекцию фигуры и внедорожник GMC.

Семьям Холлфорды отдавали урны с сухой строительной смесью, которая выглядела, как прах. О том, что ещё находят в урнах, речь пойдёт в главе о крематориях. А здесь — о том, что с этими урнами делали живые.

Учитель физкультуры Деррик Джонсон прилетел с Гавайев к умирающей матери Эллен Лопес и, как он рассказал журналистам, держал её за руку, пока рука не остыла. Через несколько дней Кэри Холлфорд вручила ему синюю коробку с пакетом серого порошка. На поминальной службе в зале отеля сын осыпал коробку лепестками роз, а потом зарыл «прах» у дома на Мауи, откуда мать хотела смотреть на внуков. Почти через год ему на работу позвонили из ФБР и спросили, не обращался ли он в Return to Nature.

Мать Деррика всё это время лежала в той самой конторе, распространяющей запах, в городке Пенроуз. В марте 2024 года Джонсон приехал в Колорадо, положил руку на ящик с её останками, попросил прощения и сам нажал кнопку кремационной печи. Джон Холлфорд в итоге получил сорок лет по законам штата, его бывшая жена Кэри — тридцать.

Пенроуз оказался в Колорадо не первым. За пять лет до него ФБР пришло с обыском в похоронный дом Sunset Mesa в городке Монтроуз. Хозяйка Меган Хесс и её мать Ширли Кох брали деньги за кремацию, а покойных целиком или по частям продавали компаниям, которые обучают хирургов. По прейскуранту 2013 года торс стоил тысячу долларов, голова — пятьсот, стопа — сто двадцать пять.

Владелицы Sunset Mesa иногда отдавали родным прах чужого человека. Так продолжалось с 2010 по 2018 год. В 2023 году Хесс получила двадцать лет тюрьмы, её мать — пятнадцать.

Оба дома работали в штате, где распорядителю похорон долго не требовались ни чёткие нормы, ни экзамен, ни даже школьный аттестат; строгие правила в Колорадо были введены только после событий в Пенроузе. Про жадность владельцев похоронных бюро говорить скучно, там всё предсказуемо. Меня больше занимает, сколько времени никто ничего не замечал. Лицензия конторы в Пенроузе истекла ещё в ноябре 2022 года, и почти год этого никто не хватился.

Штат не проверял. Семьи не решались, хотя ничего невозможного в проверке нет, просто она кажется непристойной. Тело родного человека мы отдаём в руки чужого профессионала в худший день своей жизни, подписываем бумаги, которые не читаем, и получаем обратно запе-

чатанный контейнер. Открыть его и заглянуть внутрь — значит выказать недоверие к мёртвому.

В такой день оскорблением памяти кажется любой вопрос: попросить показать крематорий, узнать, где тело пролежит до церемонии, потребовать бумагу с датой сожжения. На доверии, которое защищено разве что нашим стыдом, стоит вся отрасль. В Пенроузе его хватило на четыре года и почти на двести тел.

Всё, что в Америке делают с телом умершего до прощания, делают в препараторной: кафель, наклонный стол, слив в полу. Посторонних туда обычно не пускают, хотя скрывать там нечего, просто непарадно.

Я простоял у такого стола целую смену и скажу сразу: ничего отвратительного в этой работе нет, одна методичность. Тело раздевают и обмывают дезинфицирующим раствором, потому что возбудители болезней на коже покойного опасны для живых. Ногти вычищают, щетину сбривают дважды — по росту и против. Делается это аккуратно — порез на мёртвой коже уже не заживёт и останется на виду.

Руки покойного разминают, снимая трупное окоченение, чтобы потом придать им должное положение. Под веки закладывают тонкие пластиковые колпачки с мелкими зубчиками. Глазное яблоко теряет влагу и западает, веко без подпорки проваливается в глазницу, и лицо сразу становится лицом мертвеца. Колпачок держит форму, и ресницы ложатся как надо.

Челюсть фиксируют: изогнутой иглой проводят нить через нижнюю челюсть и носовую перегородку и затягивают её или ставят инъектор, который вбивает в кость штифты с проволокой. Рот закрывают не до конца: губы, приоткрытые на миллиметр, выглядят живее сжатых.

Дальше — само бальзамирование. На шее бальзамировщик находит артерию и вену. В артерию вводят канюлю с розоватым раствором формальдегида, ланолина и красителя, в яремную вену ставят дренажную трубку. Насос гонит состав по сосудам, по которым ещё вчера шла кровь, и вытесняет её наружу.

Взрослому достаётся больше десяти литров раствора, и к концу процесса серая кожа приобретает тёплый оттенок. Давление держат малым: от сильного напора рвутся капилляры, и на лице покойника проступают пятна, которые уже ничем не закрыть.

Потом берут троакар, длинную трубку с острым концом, вводят чуть выше и левее пупка и вытягивают из брюшной и грудной полостей всё, что не промывается через сосуды: содержимое желудка и кишечника, жидкость из лёгких. Освободившееся место заливают концентратом, прокол зашивают или затыкают пластиковой пробкой с винтом. В США закон бальзамирования не требует, семья вправе от него отказаться. Холлфорды отказались за всех от бальзамирования, а заодно и от всего остального.

Теперь начинается то, за что семья, собственно, и платит. Лицо массируют пальцами и разгоняют раствор по тканям, до которых насос не достал. Запавшие виски и щёки поднимают изнутри ватой, вложенной через рот. Сухие губы и веки покрывают кремом, иначе за сутки они сморщатся.

Тональная основа нужна особая, не впитывающаяся: обычная уходит в кожу и оставляет серость. Румяна кладут чуть выше яблочек щёк и растушёвывают почти до невидимости. Волосы укладывают так, как носил человек. Поэтому у хорошего бальзамировщика на столе всегда лежит фотография покойного, желательно домашняя, с кухни, а не из паспорта.

Человека за этим столом я сравнил бы скорее с реставратором, чем со скульптором: нового он не лепит, он возвращает утраченную форму. Умерший после долгой болезни становится мало похожим на себя, и мастер отдаёт семье что-то среднее между трупом и живым, лицо, которое можно опознать и отпустить.

По моему опыту, люди, делающие эту работу руками, почти всегда честнее тех, кто ею торгует. Они прямо говорят, что гроб за восемь тысяч долларов сгорит так же, как гроб за восемьсот, и показывают препараторную, если попросить. Пенроуз и Монтроуз эту картину

портят: в маленьком похоронном доме танатологический стол и клиентская стойка принадлежат одним людям, и Хесс с матерью обрабатывали тела сами. Портит её и санитар, берущий деньги на подоконнике, хотя он тоже работает руками.

Выходит, граница проходит внутри человека. Пока перед ним покойный, которому нужно «вернуть лицо», — он ремесленник. Стоит покойному превратиться в торс за тысячу долларов, и начинается торговля. Ремесло бальзамировщика, при всей его отталкивающей специфике, всё равно самое чистое, что есть в этой индустрии, просто удерживаются в нём не все.

А за стойкой начинается другая профессия. В 1963 году американская журналистка Джессика Митфорд выпустила книгу под названием The American Way of Death, «Американский способ умирать», и выяснилось, что похоронщики боятся огласки сильнее, чем проверок. Митфорд расспрашивала и самих похоронщиков, но главное нашла в отраслевых журналах и пособиях для продавцов. Книга стала бестселлером и довела дело до слушаний в Конгрессе.

Один из приёмов, которые журналистка вытащила на свет, прост до неприличия. Дорогие гробы советовали ставить в зале справа, потому что большинство людей правши, и рука сама тянется вправо. Покупатель шёл к дорогому товару сам и был уверен, что выбрал свободно.

Дальше начиналась манипуляция с чувством вины. Человеку, который зачастую не спал несколько ночей и пребывает в уверенности, что недодал покойному внимания, заботы или ещё чего-нибудь, предлагают загладить вину материальным: редким деревом гроба, бронзовой фурнитурой, герметичным «защитным» саркофагом. Ни от чего такой гроб, кстати, не защищает, и уплотнитель в могиле бесполезен.

Через двадцать с лишним лет после выхода книги, в 1984 году, Федеральная торговая комиссия ввела «Правила о похоронах». С тех пор похоронный дом обязан выдать клиенту перечень цен на руки или назвать их по телефону, если спросят.

У нас всё грубее и в этом, если угодно, честнее: тот же товар продают без салона с подсветкой, прямо в больничном коридоре. Как агент оказывается у двери раньше врача, я уже рассказывал. Добавлю одно: цена утечки зашита в итоговый счёт, так что за звонок, который приведёт к вам «ритуальщика», вы же и заплатите.

Как, впрочем, и за остальное по списку: гроб, покрывало, подушка, крест, табличка, венки, катафалк, бригада носильщиков, копка, оформление, прощальный зал. Гарантировано законом в этом списке немногое: оформление документов, гроб, перевозка тела и само погребение или кремация. Всё остальное решается договором.

Государство выделяет на погребение пособие без малого в десять тысяч рублей. Самые простые похороны московское государственное учреждение «Ритуал» проводит бесплатно, в счёт пособия с городской доплатой почти в двадцать шесть тысяч, но к такому варианту мало кто прибегает. Обычный заказ в большом городе выходит в разы дороже, и верхней границы у него нет. Я видел счета, где «комплексная услуга» стоила вдвое дороже суммы составляющих, и спрашивать, из чего она сложена, было поздно: подпись уже стояла.

Похороны заказывают за считанные часы после смерти, в слезах, при свидетелях и под взглядами родни, которая всё запомнит. Человек в горе торгуется плохо, и никакая реформа этого не изменит.

Для себя я вывел из этого одно правило: в коридоре ничего не подписывать, а чего хочешь для себя, написать заранее и отдать своим близким. Горя у них от этого меньше не станет, но откупаться от собственной вины не придётся. Джессика Митфорд так и поступила. Её собственные похороны в 1996 году обошлись в 533 доллара: кремация без церемоний и прах, развеянный над морем.

Глава 5. Кладбище

Лес возле Ноксвилла выглядит обыкновенно: дубы, клёны, бурая октябрьская листва, пологий склон и сетчатый забор с колючей проволокой. Это примерно гектар земли за больницей Университета Теннесси. С 1994 года, когда вышел детектив Патрисии Корнуэлл The Body Farm, его так и зовут: «ферма тел».

Запомнил я его по запаху. Густой, сладковатый, с металлической нотой, он лезет в горло, сидит там весь день и въедается в куртку. Вечером в мотеле её стираешь дважды — без толку. Посторонних сюда не пускают, меня провели знакомые с кафедры университета.

По документам ферма называется Anthropology Research Facility Facility — Центр антропологических исследований. Основал его в начале восьмидесятых антрополог Уильям Басс, и поводом стала его собственная ошибка. В 1977 году он решил, что найденный полицией покойник умер меньше года назад, а тот оказался солдатом Гражданской войны, убитым в 1864 году.

Начинал Басс с одного тела и бетонной площадки в двадцать с небольшим квадратных метров. Сегодня склон занимают несколько десятков умерших, а завещали своё тело ферме больше пяти тысяч человек.

Мёртвые здесь лежат так, как их находят в жизни. Один под синим брезентом, прижатым камнями, другой в багажнике ржавого седана, нарочно оставленного на солнце. Третьего просто положили на склоне и присыпали листвой, и если не знать, пройдёшь мимо.

Студенты ходят между ними с блокнотами и пинцетами, собирают в пробирки мушиные личинки, записывают температуру и отмечают стадии. Девушка с хвостиком объясняет мне, не поднимая головы, что падальная муха находит тело за минуты и откладывает яйца во всё влажное: в глаза, нос и рот. Через сутки из яиц вылупляются личинки.

Время смерти в первые недели вычисляют с точностью до дня по размеру личинок и по тому, какая муха прилетела первой: в холод раньше успевает синяя мясная муха, в жару — зелёная.

Стадии у всех одни и те же, где бы тело ни лежало, меняется только скорость. Сердце уже не гонит кровь, в первые часы после смерти заканчивается кислород, и клетки начинают переваривать себя изнутри. Занимаются этим те же ферменты, что всю жизнь работали на вас. Кожа отслаивается, а на второй или третий день на животе проступают зеленоватые пятна, потому что бактерии выбираются из кишечника наружу.

К концу первой недели или к началу второй тело вздувается. Газы распирают живот и выталкивают язык, глаза выпирают, а сам человек раздаётся так, что его не узнать. Потом кожа не выдерживает, и начинается активное гниение. Жидкости уходят в почву, а личинки съедают мягкие ткани так быстро, что летом под открытым небом, по словам девушки с хвостиком, от тела за девять дней могут остаться одни кости.

Склон после этого затихает. К исходу года дожди отмывают скелет дочиста. Через десять лет кости крошатся по краям, а под ними в земле темнеет жирное пятно, и трава на нём растёт иначе, чем вокруг. От человека остаётся кальций и аномальный состав почвы.

Ровная схема, впрочем, работает не везде. Положите то же тело в сырую глину, без доступа воздуха, и гниения не случится. Подкожный жир превращается в жировоск — белёсую мылистую массу, похожую на творог и воск одновременно. Эта масса держит форму лица и иногда сохраняет узнаваемые черты спустя десятилетия.

В Германии с этим знакома почти каждая кладбищенская контора. Участок там обычно сдают лет на двадцать-тридцать, а когда срок выходит и могилу вскрывают снова, внутри лежит целёхонький мертвец. Немцы называют таких Wachsleichen, восковыми покойниками.

Освободить место по графику не получается, и кладбищам приходится подводить к могилам воздух и менять грунт. На одном кладбище в Ганновере гробы и вовсе запретили.

Московские кладбища упираются в землю, которой слишком мало. Однажды я полдня провёл у конторы на Ваганьковском и просто слушал. Человек в куртке поверх костюма объяснял женщине, что «на центральной аллее, конечно, закрыто, но есть вариант, если подойдёт по родству». Говорил он вполголоса, с профессиональной деликатностью ювелира, который называет цену бриллианта.

Цифра, которую я разобрал, начиналась с пятёрки и заканчивалась шестью нулями. Столько стоили два метра по вертикали, больше трети однокомнатной квартиры в Кузьминках. Женщина взяла визитку и ушла.

Ваганьковское и Новодевичье для новых могил закрыты. Хоронят там только заслуженных людей или подхоранивают к родне. На Троекуровском город сам продаёт семейные участки, и самый дорогой стоит больше четырнадцати с половиной миллионов. Рядом работает рынок попроще, и вход в него называется родственным подзахоронением.

Правило простое: если в могиле лежит ваш родственник и истёк санитарный срок, а в Москве это пятнадцать лет, в области — двадцать, вы имеете право лечь к нему. Право святое и человеческое, спорить с ним невозможно: семья должна быть вместе. Через него весь рынок и проходит.

Схема отточена до изящества. Сначала находят могилу с одним покойником и живыми, но равнодушными владельцами. Обычно это внучатые племянники, которые не бывали здесь тридцать лет и последний раз платили за ограду ещё при другой валюте. Их разыскивают и делают им предложение.

Потом наступает очередь бумаг о родстве, а бумаги в России бывают разного происхождения: загсовские справки, архивные выписки и пр. Но если у вас внезапно обнаружится двоюродная бабушка по неведомой линии, проверять родство, по моим наблюдениям, будут вряд ли: некому и незачем.

Доверенность от «ответственного за захоронение» продаётся отдельно, по своей цене. Я слышал о случаях, когда такую бумагу выкупали у человека, не помнящего, кто именно лежит в могиле, за которую он отвечает.

Лопата идёт в ход последней. Новый гроб ставят поверх старого, насколько хватает глубины, отсюда и два метра по вертикали, превращённые в единицу недвижимости. Бывает, что в одной яме оказывается три уровня, а урну с прахом опускают прямо в цветник, под клумбу. Это даже разрешено: нужно лишь согласие ответственного и подпись администрации.

Гранит меняют, и только это видно снаружи. Старую плиту увозят, ставят новую с двумя именами, и соседство бабушки, похороненной в 1998 году, и бизнесмена, умершего год назад, выглядит на камне, как семейная идиллия.

Подделки и купленные доверенности меня здесь не удивляют, это скучно и предсказуемо. Удивляет другое: зачем всё это мёртвому? Он ничего не увидит, ни аллеи, ни знаменитых соседей, будь то Есенин на Ваганьковском или Чехов на Новодевичьем.

Покупают место живые. Им приводить сюда гостей, показывать фотографию в телефоне и произносить с достоинством: «Отец лежит на Ваганьковском» тем же приглушённым голосом, каким называют цену.

Сословия в России отменили в 1917 году, но они вернулись окольным путём. От дворянства ничего не осталось, номенклатура рассыпалась, а богатство можно потерять за несколько дней или за одно постановление правительства. Место на статусном погосте не арестуют и не обесценят, перепродать его могут разве что внучатые племянники. По-моему, это последний сословный признак, который ещё продаётся за деньги, и самый прочный титул: лишиться его невозможно, ибо некому: носитель уже умер.

На краю погоста в Тверской области смотрительница показывает мне, где кончается ограда. Самой ограды нет, её не стало лет пятнадцать назад, а кресты идут дальше, в поле,

ровными рядами, будто землю заранее расчертили. «Это уже не наше», — говорит она. «А чьё?» — «Да ничьё. Раньше колхозное было».

Три метра отделяют последний законный крест от первого незаконного. По документам на этих метрах начинается земля сельхозназначения, а на деле там с позапрошлого марта лежит Нина Сергеевна, судя по табличке.

Закон, регулирующий всё это, написан ещё в январе 1996 года. Называется он «О погребении и похоронном деле», и девятая статья обещает каждому умершему гарантированный перечень: оформление документов, гроб, перевозку на кладбище и само погребение, всё бесплатно. На бумаге конструкция красивая, но держится она на сумме пособия, которое государство платит службе за указанные услуги или семье, если та хоронила сама.

С февраля 2026 года пособие составляет 9 678 рублей с копейками. Самый простой гроб из необрезной сосны забирает от трети до половины этой суммы. На копку могилы зимой, перевозку и захоронение остатка пособия уже не хватает, и семья доплачивает. Скромные похороны в провинции обходятся в сорок, а то и в шестьдесят тысяч. Государство оплачивает примерно пятую часть самого дешёвого прощания со своим гражданином и называет это гарантией.

По правилам, у кладбища должны быть границы, кадастровый номер, зона санитарной защиты и книга регистрации захоронений. На деле огромная часть российских погостов на учёте не стоит вовсе.

Я видел муниципалитеты, которые не могут сказать, сколько у них кладбищ. Чиновники перечисляют по памяти и заодно прибавляют бабушкино, за деревней, где последний раз хоронили в девяностых. В одном районе мне сперва назвали одиннадцать, а потом, перезвонив, четырнадцать.

Реестры в лучшем случае ведут в школьной тетради. В худшем они сгорели вместе с конторой или хранились в голове у смотрителя, который умер и сам лежит там же.

Участок, который «купили» у сторожа за наличные, оказывается чужим. Погосты расширяются самозахватом, как тверской, потому что хоронить надо сегодня, а согласование зоны санитарной защиты тянется годами.

Исследование для фонда «Хамовники» в 2017 году показало, чем это грозит: кладбище на землях сельхозназначения новый владелец вправе снести и пустить землю по назначению. В такой земле и лежит Нина Сергеевна. И многие другие.

Для закона таких захоронений нет. Смерть гражданина государство зарегистрировало, а похороны для него по бумагам не состоялись.

О том, как страна относится к живым, можно спорить долго, цифры всегда можно толковать по-разному. С могилами так не выйдет. Ничейная, неразмеченная земля без границ и реестра, с пособием, которого хватает на доски, и есть, на мой взгляд, честный ответ на вопрос, сколько стоит отдельный человек для государства.

Один мужчина два лета искал под Тверью могилу отца: номера сектора не было никогда, а соседи, помнившие место, разъехались. Из всего увиденного я вывел несколько злых правил. Гарантированный перечень требуйте письменно, хотя дают его неохотно и качеством, подозреваю, пугают нарочно.

Удостоверение о захоронении с номером участка, если в вашем регионе его выдают, берите обязательно. Через тридцать лет только эта бумага докажет, что могила ваша. Звучит кощунственно, но место стоит сфотографировать с геометкой: там, где кладбища не знают собственных границ, точка в телефоне надёжнее камня и соседской памяти.

Глава 6. Кладбища, которых нет

Стена подвала в доме на улице Лянжери, в двух шагах от парижского рынка, лопнула в конце мая 1780 года. Подземные воды были ни при чём: на стену давили мертвецы. Вместе с землёй в погреб хлынуло содержимое соседствующей с домом общей ямы кладбища Невинных: кости, полуразложившиеся тела и чёрная жижа, которую медики того времени деликатно называли трупным соком.

Жильцы того дома с начала года жаловались на удушье, рвоту и бред. Когда при мне говорят, что кладбище — тихое место, я вспоминаю этот подвал. Тихое оно, пока держит стена.

Погост Невинных к тому времени принимал покойников больше тысячи лет, со времён Меровингов. Занимал он клочок земли меньше городского квартала, между рыночными рядами и лавками зеленщиков. Сюда везли мёртвых из двадцати двух приходов, жертв чумы, умерших в больнице Отель-Дьё и безымянных утопленников из Сены.

Могильщики набивали общую яму полутора тысячами тел, засыпали и рыли соседнюю, а потом возвращались к первой. Парижане верили, что «голодная» земля кладбища Невинных съедает тело за девять дней — в Ноксвилле это сочли бы рекордом. Кости сгребали и складывали под крышей, в галереях склепов по периметру.

Уровень земли на кладбище от этого рос. К XVIII веку земля внутри ограды поднялась на два с половиной метра над уличной мостовой, и мёртвые лежали выше, чем ходили живые.

О смерти принято думать возвышенно, и никто не прикидывает, сколько она весит. А кладбище может переполниться, как чердак или трюм, и тогда начинает давить на стены.

Парижане знали это по собственному опыту. В домах вокруг погоста молоко портилось за ночь, вино прокисало в бочках, а колодезная вода отдавала сладковатой тухлятиной: её перестали пить задолго до того, как врачи догадались, что в колодцы сочится влага из могил. Свечи в подвалах гасли сами — мы бы сказали, от нехватки кислорода. Современники говорили о «гнилостном воздухе» и, по сути, были правы. Люди жили, вдыхая миазмы своих прадедов.

Кладбище Невинных закрыли в декабре того же года, но именно что закрыли: ещё пять лет погост простоял под замком со всем содержимым, пока Государственный совет короля не постановил вывезти всё и всех.

Кости решили отправить в заброшенные каменоломни Томб-Исуар, откуда столетиями брали известняк на строительство самого Парижа. Мёртвых спускали туда, откуда когда-то вынули камень для их домов.

Первые подводы с останками ушли в Томб-Исуар в декабре 1785 года. Работали по ночам, чтобы не смущать живых, и через спящий город при свете факелов тянулись телеги, крытые чёрной тканью.

Священники шли впереди и пели заупокойную службу всю дорогу, около лье, то есть километра четыре, до самого спуска в шахту. Кладбище Невинных вывозили больше года. Потом настал черёд других старинных погостов, и почти за три десятилетия под землю переселили около шести миллионов бывших парижан.

Дальше начинается то, что тревожит меня сильнее любой лопнувшей стены. В 1810 году инспекцию каменоломен возглавил инженер Эрикар де Тюри, человек со вкусом. Он решил, что беспорядочные груды человеческих останков недостойны вечности, и велел выложить их красиво. Бедренные кости легли в ряд, торцами в одну сторону, поверх протянулась шеренга черепов, где крестом, где сердечком.

Получилась декорация, и довольно эффектная. Человек, у которого в своё время были имя, приход, долги и дети, лёг в неё строительным материалом, равно как и безымянный бродяга, живший под мостом через Сену. Собственно, к этому и того, и другого давно приговорила переполненная земля.

Вторая история произошла на две с половиной тысячи километров восточнее и на полтора века позже. Там обошлись без факелов и без священников.

Дорогомиловское кладбище в Москве открыли в 1771 году, в чумной год, по той же причине, по которой парижане закрывали приходские погосты: мёртвых стало слишком много для города. Расположили новое кладбище за одноимённой заставой, у излучины реки. Сначала здесь находили последний приют чумные, потом беднота, а к началу века стали хоронить и профессоров, и купцов.

Триста солдат, умерших от ран после битвы под Бородином, тоже легли здесь в общую могилу, и в 1849 году над ней поставили памятник. По соседству, за оградой, был еврейский погост. В 1900 году на нём похоронили Исаака Левитана.

Перед войной власти решили проложить на запад парадную магистраль, будущий Кутузовский проспект, и кладбище оказалось у неё на пути. Порядок ликвидации был прост до обидного: объявление о «переносе захоронений» и короткий срок, а то и никакого. Родственникам предлагали самим и за свой счёт перевезти прах на Востряковское.

Семьи успели перевезти лишь малую часть могил. Если близкие сидели в лагере, были на поселении или в эвакуации, если родственников уже не осталось, могила оставалась на месте. Так осталась могильная плита купца Горбунова: сын сидел под Карагандой, а вдова вернулась из эвакуации в сорок четвёртом — к котловану.

Нескольких «значимых» покойников перенесли на Новодевичье и Ваганьковское, среди них в 1941 году и Левитана. Памятник героям Бородина увезли к Бородинской панораме, а сами солдаты остались под асфальтом.

Дома над костями выросли к середине пятидесятых, тяжёлые, с эркерами и лепниной, с магазинами на первых этажах. Дом на Кутузовском, 26, где жили Брежнев и Андропов, стоит примерно на месте кладбищенской церкви работы Баженова, снесённой вместе с могилами. Адресов престижнее в Москве было немного.

Кости тут попадаются до сих пор. Их находили при прокладке теплотрассы в шестидесятые, а недавно — и на набережной Тараса Шевченко, где их так и оставили. В 2010 году, при постройке школы на Кутузовском, 22а, откопали останки девяноста четырёх бородинских солдат и перезахоронили на Введенском кладбище под обелиском. Почестями они обязаны экскаватору.

Мрамор тоже пошёл в дело. По московским рассказам, плиты с Дорогомиловского — купеческие, с ятями и словами «здесь покоится прах» — укладывали в облицовку цоколей и пускали на бордюры, а остальное вывозили на свалку.

То, что в Париже тревожило меня сильнее всего, рядом с Москвой выглядит почти почтением: де Тюри хотя бы выложил черепа на виду. В Москве плиту клали надписью в грязь.

Парижское кладбище, при всех расчётах на метры под торговые ряды, действительно травило живых, и предлог был настоящим. Жестокая, но санитария.

Дорогомиловское, насколько я могу судить, ничьему здоровью не угрожало. Убрали его, на мой взгляд, потому, что оно хранило чужую советской идеологии память: купеческую, солдатскую, еврейскую, царскую. Новое государство хотело встать на этом месте именно сверху — и встало. Погост даже переносить толком не стали, его просто отменили и выстроили на нём престижный квартал. В этом есть метод: строиться поверх тех, кого решили не помнить.

Третья история мягче и от этого хитрее. Она случилась в Марьиной роще, в детском парке «Фестивальный» на улице Советской Армии, куда я хожу уже много лет.

Лазаревское кладбище открыли в середине XVIII века, задолго до чумы, для бедняков и умерших «дурной смертью»: самоубийц, утопленников, безымянных. Это было первое общественное кладбище Москвы, и легли на нём десятки тысяч мастеровых, солдат, мещан и нищих, которых хоронили даром. В начале тридцатых его закрыли, а к 1936 году сровняли с землёй.

Домов здесь не строили. На месте могил открыли Детский парк имени Дзержинского с каруселями и танцплощадкой, которую местные, говорят, прозвали «фокстротом на костях». Валентина Ивановна, с которой я познакомился, сидя в «Фестивальном» на скамейке, помнит рассказ матери: после войны та бегала сюда на танцы, а из-под настила белела могильная плита с ятями. Церковь Святого Духа, построенную в 1787 году по проекту архитектора Елизвоя Назарова, оставили и устроили в ней общежитие.

Мария Фёдоровна, мать Достоевского, была похоронена на Лазаревском в 1837 году. Сын, приезжая в Москву, всегда шёл к ней. Надгробие пережило снос в музейном подвале, и в 2017 году его вернули на прежнее место у церкви. Самой Марии Фёдоровны под ним, скорее всего, нет: в тридцатые её прах выкопали.

Я стою у качелей и смотрю под ноги. Дорожки тянутся ровными параллелями, слишком узкими для прогулочного парка, и мне кажется, что это старые проходы между рядами могил. Ни на одной табличке об этом не написано.

Большинство покойников так и лежит под газоном. Их не увезли в каменоломни, как парижан, и не закатывали под асфальт, как дорогомиловских солдат. Здесь вроде бы поступили гуманнее всего. Убрали только имена.

По-моему, из трёх развязок эта — самая двусмысленная. Дорогомиловское снесли, это насилие, и называть его можно прямо. А тут — благоустройство: вместо мрамора — газон и карусели, живые устроились поверх мёртвых.

Возразить вроде бы нечего, мёртвым от каруселей ни холодно, ни жарко. Только подмену здесь заметить трудно. Нам предложили считать, что надгробие и есть могила: нет камня — значит, нет и могилы. Тело осталось в земле, но стало ничьим, просто грунтом.

Я часто думаю, что же мы называем могилой? Если кости, то центр любого старого города — сплошь кладбище. В Замоскворечье сварщик с Пятницкой рассказывал мне, как при замене труб из траншеи вместе с битым кирпичом подняли череп: работы встали на два дня, потом яму засыпали.

Если могилой считать надгробный камень, то и он недолговечен: плиты крошатся и идут на бордюры. Остаётся третий вариант, и только он держится: могила есть знание живых о том, кто здесь лежит.

Пока хоть один человек знает адрес, могила существует, пусть над ней стоит хоть ларёк с мороженым. Забыли — и кладбища нет, лежат там тела или давно вывезены.

Снаружи город, который помнит, что стоит на мёртвых, ничем не отличается от города, который забыл: те же дома, те же качели во дворах. Разница видна, когда кто-то берётся за лопату. Помнящий относится к земле, как к архиву, и копает осторожно, держа в уме, что до него здесь уже лежат люди. Забывший уверен, что история началась с него, и легко разрешает себе снести, залить, застроить: там же ничего нет.

Я бы хотел немногого: честных табличек с датами открытия и закрытия. Здесь было Лазаревское, здесь — Дорогомиловское, здесь — Семёновское, солдатское, с 1812 года. На Семёновском стенды у входа пообещали недавно, в «Саду памяти». И ещё хотелось бы привычку спрашивать о любом месте: что тут было раньше?

Мистики в этом никакой, и живых я не упрекаю. Качели качаются, дети кричат, и пусть кричат. Я только хочу, чтобы мы помнили, над чем они качаются.

Глава 7. Крематорий

В прощальном зале всегда слишком тихо и слишком тепло. Я стоял у стены, чуть позади семьи, и смотрел, как женщина лет шестидесяти склоняется над открытым гробом и в третий раз поправляет воротник на пиджаке покойного мужа, хотя поправлять там было уже нечего.

Служитель накрыл гроб крышкой и вбил в неё один гвоздь — скорее для вида. Зазвучала музыка, за стеной нажали кнопку, и постамент медленно поехал вниз. Створки сомкнулись, а женщина так и осталась стоять, протянув руку туда, где только что лежал покойный муж.

Все думают, что за створками огонь. Из заблуждений о смерти это, по-моему, самое живучее. На деле там грузовой подъёмник и бетонный коридор с крашенными в серый стенами. По коридору гроб везут на тележке в накопитель. Так называют прохладное помещение, где стоят такие же тележки, иногда шесть, иногда двенадцать.

Очередь здесь настоящая. В самом большом крематории под Москвой, по словам сотрудников, бывает по семьдесят кремаций в день, печи загружают по порядку, и ваш умерший может провести в накопителе ещё несколько часов, а в пиковые дни пролежать до утра.

Несгораемую металлическую пластинку с номером кладут в гроб ещё при приёмке, а в журнале напротив этого номера записывают фамилию. Оператор сверяет одно с другим вслух, сам для себя: ошибку потом уже не исправить. Перепутанные урны, по словам операторов, попадают в судебные дела редко, но всё же попадают, и у печей этого боятся сильнее всего. Оператора, мужчину в синей робе, зовут Сергей. В профессиональном стандарте его должность называется «машинист кремационной печи», у этой печи он двадцать второй год, и в цех меня провёл тоже он. Я видел, как он трижды прочитал фамилию мужа той женщины, которую я видел в прощальном зале, прежде чем подкатить тележку к проёму. «Раз глазами, раз вслух, а третий — для него», — кивнул он на гроб.

С тем, что показывают в кино, цех не имеет ничего общего. Там светло, пахнет разогретым металлом и немного горячей пылью, как от старой духовки. Запах устраняет мощная вытяжка, которая гудит так, что приходится повышать голос. Сама печь похожа на длинный короб, выложенный изнутри шамотным кирпичом, печники зовут эту кладку футеровкой. За пультом женщина в очках, оператор кремационного оборудования, смотрит на цифры: девятьсот градусов, тысяча.

Заслонка открывается, и из проёма бьёт такой жар, что за два метра сохнут глаза. Гроб на роликах заталкивают внутрь за несколько секунд, и проём снова закрывается.

Тело горит от полутора до двух часов, и вместе с ним сгорает всё: дерево, обивка, рубашка, носки, венок из живых роз, который родственники просили «не убирать, пусть с ним». Человек на две трети состоит из воды, и жар первым делом выпаривает её. Потом уходят мягкие ткани.

Слово «прах» здесь обманчиво. Пепла на дне печи нет, горсти серой пыли тоже. Там лежат крупные белые обломки скелета, сухие и пористые, и среди них без труда узнаются свод черепа, кусок таза, бедренная кость. Они такие хрупкие, что рассыпаются от прикосновения совка.

Останки выгребают в металлический поддон и дают им остыть минут сорок, иногда час. Дальше идёт работа на вид совсем будничная, хотя страннее её я в цехе ничего не видел: над поддоном проводят магнитом, и к нему прилипают гвозди от гроба, мебельные уголки, петли от крышки.

То, что врачи успели вложить в человека за жизнь, оператор выбирает руками: винты из бедра, пластину, поставленную после аварии в девяносто восьмом, скобы, спицы, искусственный сустав, который хозяин носил последние десять лет. Титан и большинство сплавов для

протезов магнит не берёт. Головка эндопротеза выходит из печи потемневшим шариком, пережившим тысячу градусов.

Кардиостимулятора среди этих находок быть не должно. Его обязаны извлечь заранее, потому что литиевая батарея в печи взрывается и может выбить футеровку. Но история про забытый стимулятор есть у каждого старого оператора. «Хлопнуло, как из ружья, полсмены кирпич меняли», — вспоминает Сергей. Собранное ссыпают в отдельный ящик. В Европе содержимое таких ящиков давно сдают на переработку.

Оставшиеся в поддоне белые и сероватые обломки на прах ещё не похожи. Их засыпают в кремулятор, промышленную мельницу, в которой вращаются тяжёлые шары или ножи. Мельница несколько минут шумит, как кофемолка в большой столовой, и выдаёт то, что мы называем прахом: однородную крошку, белую или серую с бежевым оттенком, похожую на крупный песок.

Весит эта крошка в среднем около двух с половиной килограммов, у рослого мужчины бывает почти четыре, у маленькой пожилой женщины с остеопорозом — меньше килограмма. Её пересыпают в пластиковый контейнер или сразу в урну и вкладывают туда металлическую пластинку с номером, проделавшую с гробом весь путь. Бумажная бирка сгорела бы в первые же секунды.

Сергей трижды читает фамилию, женщина за пультом следит, чтобы температура не падала ниже восьмисот градусов. Они делают для наших мёртвых то, за что сами мы никогда бы не взялись, а кто они такие — из провожающих не знает никто, даже имён. Себя Сергей тоже завещал кремировать. Закон о погребении позволяет заранее изъявить волю на кремацию — письменно или устно, при свидетелях, и он написал бумагу от руки, назвав исполнителем дочь. «Я знаю, как тут работают, — сказал он. — Пусть свои загрузят и трижды прочитают. А дочке не надо будет покупать место на кладбище».

Больше десяти лет назад геохимики Томского политехнического университета изучили прах из крематориев пяти больших российских городов. Кальций и фосфор, минеральную основу скелета, там нашли, как и рассчитывали. Удивило другое: в прахе жителей каждого города оказался свой набор элементов. У новосибирцев, например, нашлось золото, и учёные связали его с местным аффинажным заводом, где очищают драгоценные металлы.

Если человек полвека дышал воздухом возле завода и пил воду из городской трубы, а овощи брал с дачи у трассы, всё это год за годом оседало у него в костях. Так что по составу праха, как выяснилось, можно почти угадать город, где человек прожил жизнь.

Меня это открытие, как ни странно, успокоило. Наконец-то честный ответ на вопрос, что лежит в урне. В урне, которую выдадут той вдове, не её муж. Муж был походкой, запахом табака в прихожей, манерой замолкать на середине фразы. А в урне — минеральный остаток скелета, прокалённый и смолотый, вместе со всем, что отложил в нём город. Горевать, наверное, и значит держать в голове обе мысли сразу: это не он, и больше от него ничего нет.

Многие урны, впрочем, так никто и не забирает. Сколько их, я понял, только когда постоял на складе крематория среди стеллажей от пола до потолка, где выстроены одинаковые светлые капсулы с бирками: двенадцатый год, пятнадцатый, восемнадцатый. Сроки хранения задают местные правила, в Москве невостребованный прах через год хоронят в общей могиле. Здесь хоронить не торопились, и я так и не понял, милосердие это или беспорядок.

Из равнодушия их оставляют редко. Чаще забрать просто некому: человек пережил всех близких. Бывает, сын живёт за границей и всё собирается прилететь. Бывает, нет денег на нишу в колумбарии, а признаться в этом стыдно. А кто-то не смог ещё раз войти в эту дверь, отложил на следующий год, потом ещё на год, и капсула стоит до сих пор. Аккуратнее места, чем этот склад, я в крематории не видел.

Всё, что я описал выше, работает, пока пластинка с номером лежит в нужном гробу, печь загружена одним телом, а Сергей делает своё дело так, как делал бы его для собственной

матери. Обычно так и есть. Но бывает иначе, и молчать об этом, по-моему, значит не уважать мёртвых.

В Екатеринбурге смерть в квартире недолго оставалась без внимания. Скорая ещё не уезжала, а у двери уже стоял агент ООО «Комбинат специализированного обслуживания» с готовым договором, и оглушённая семья подписывала его, почти не читая. Так подписала и вдова инженера с «Уралмаша». Мужа отпели в храме, а недели через три ей выдали урну с прахом.

Неприятности начались на кладбище. Городская служба отказывалась хоронить урну: в справке о кремации не было адреса крематория. ООО оказалось двойником из Саратова, взявшим название у муниципального учреждения, которому принадлежит единственный законный крематорий города. По отчётности, в фирме числилось четыре сотрудника со средней зарплатой меньше трёх тысяч рублей.

Семьи пошли в суды ещё в 2023 году. В конце 2024-го глава муниципального комбината Дмитрий Хазов, прямой конкурент двойника, назвал происходящее «бочкой на колёсах»: тела, по данным кладбищенской службы, сжигали в передвижной печи, допустимой по стандарту лишь в чрезвычайных случаях вроде эпидемий и войны. Прокуратура передала материалы в полицию для проверки на мошенничество. Где стояла печь и что лежит в выданных урнах, на конец 2024 года не знал никто.

Нижегородский крематорий на этом фоне выглядит образцом порядка: процесс кремации происходит в настоящих печах, а за восемьсот рублей родным покажут на экране, как загружают гроб. Раньше, говорят там, ходили легенды о подмене гробов. Тем неприятнее история, которая случилась там летом 2025 года. Семья восьмидесятисемилетней женщины заказала прощание и православное отпевание, принесла цветы, а прах собиралась похоронить в Ставрополе, рядом с мужем покойной. Утром в день похорон внучка узнала, что прощаться не с кем: бабушку уже кремировали. «Я была в полном шоке», — рассказала она журналистам.

Директор крематория назвал это непоправимой ошибкой: сотрудник ночной смены, по его словам, потерял концентрацию. Семье вернули тридцать девять тысяч рублей за услуги и бесплатно выдали урну. Проверить, что в ней лежит, родные не могут.

Кремацию не отменишь и не проверишь. Ошибку на кладбище можно хотя бы установить: могилу вскрывают, и экспертиза даёт ответ. В костной крошке, прошедшей печь и кремулятор, ДНК не сохраняется, и никакой эксперт не скажет вам, ваш ли это человек.

Отличить прах от строительной смеси анализ может, так было в Пенроузе, но чей это прах, он не скажет. Остаются номерная пластинка и добросовестность оператора за створками, которому мы доверяем вслепую.

Поэтому спрашивать надо, даже если неловко. В нормальном крематории пластинку с номером вернут вместе с прахом, в Новосибирске гроб провожают до печи, наблюдая через стекло, и если вам в таком отказывают, это повод насторожиться. Своя «бочка на колёсах» рано или поздно появляется там, где необратимое делают за закрытой дверью, а при открытой такого практически не бывает.

Отговаривать от кремации я никого не собираюсь. Я прошёл за эти створки живым и когда-нибудь попаду туда снова, уже не на своих ногах. Через неделю я снова увидел ту вдову. Она расписалась за урну, сверила номер на крышке с квитанцией, и только потом прижала капсулу к груди.

Глава 8. Невостребованные

Экскаватор работал ровно и без спешки, будто копал траншею под кабель. Извлечённый грунт ложился слева аккуратным валом: рыжая глина с прослойками серого суглинка. Ковш брал в ширину метр с небольшим, а вглубь траншея уходила чуть больше, чем на два метра, чтобы над крышкой гроба осталось полтора метра земли, как положено по правилам. Тянулась она на сто метров — примерно, как дорога от подъезда до остановки, которую проходят за минуту, не думая. Такие рвы здесь готовят заранее, пока земля не промёрзла, и места в каждом хватает на полсотни человек.

Машина стояла на краю Покровского кладбища в промзоне Металлургического района Челябинска. Позади экскаватора торчали трубы ТЭЦ и электродного завода, впереди лежало поле с низкими холмиками. Здесь хоронят неопознанных и отказников, от бездомных до мертворождённых младенцев. Так вблизи выглядит безымянный участок из первой главы.

Рабочие в оранжевых робах ставили гробы в ряд, вплотную, торец к торцу, как коробки в кузове. Сколоченные из досок и ничем не обитые, у похоронщиков они называются «эконом», а в накладных значатся как «гроб стандартный необитый, 1 шт.».

Табличка на деревянном кресте тут заменяет камень. Это металлическая пластина с выбитыми номером и датой. Иногда к ним добавляется фамилия, если её знают, но чаще дело ограничивается цифрами: «147, 24.03» — и больше ничего.

Казённые похороны здесь, судя по госзакупкам 2021 года, стоили чуть больше семи тысяч рублей на покойника. В эту сумму входили бумаги, гроб, перевозка из морга, погребение и временный памятник, а работу по договору подряда выполняла частная компания. Обычные похороны в том же Челябинске в тот год начинались от двадцати тысяч, не считая памятника из серого гранита. Дело тут не в уважении. Один путь оплачивают живые, а другой проходит по статье муниципальных расходов.

Путь этот я проследил по бумагам, и он оказался коротким. Тело поступает в морг с улицы, из больницы или из квартиры, где человек пролежал неделю. Личность выясняют, а бывает, что так и не выясняют. Если родни нет, закон даёт специализированной службе трое суток с того дня, как установлена причина смерти. На практике тело лежит в холодильнике две недели, месяц, а если есть место, то и дольше. Всё это время ждут родственников.

Родственники иногда есть, и это самое тяжёлое. Бывает, что сын живёт в соседнем районе, ему сообщают, а он отвечает по телефону: «Хороните сами, у меня денег нет». А бывает, что он не говорит ничего и просто перестаёт брать трубку. Санитарка в таких случаях ставит в журнале пометку «отказ», всего два слога, и переходит к следующей строке.

Очередь доходит до акта. Специализированная служба получает заявку, выезжает и забирает тело. Составляется список: «ФИО (при наличии)», номер судебно-медицинского исследования, дата. Его подшивают в папку на тесёмках, и такие папки занимают в конторе стеллаж от стены до стены.

Запись в книге захоронений позволит и через десять лет найти человека, если кто-то спохватится. Иногда действительно спохватываются. Я знаю историю женщины, которая через четыре года нашла отца по номеру участка и ряда. Она приехала с пучком искусственных гвоздик, постояла у креста с цифрами и уехала, потому что делать там, собственно, нечего. Похоронщик Дмитрий Ерёмин говорил, что так и бывает: живут в разных городах, мало общаются, а о смерти узнают через полгода.

Злодея в этой истории нет. Государство сработало. Тело не бросили гнить там, где обнаружили, нашлись деньги, машина, люди и земля, учёт завели и сохранили. Краевед зовёт это кладбище адом на земле, и я его понимаю. Но минимум выполнен, насколько я могу судить,

честно, без воровства и, кажется, без брезгливости. Бригада работала спокойно, никто не шутил, и шапки снимали, прежде чем опустить гроб в могилу.

Казённая забота большего дать не может, потому что скорбь не входит в смету. Её нельзя заказать и оплатить, это не услуга, и идёт она только от человека к человеку.

Там, где хоронят безымянное тело, остаётся номер. Неопознанному он честно сообщает: мы знаем, что ты был, но не знаем, кто ты. Отказнику он сообщает другое: имя есть, но близких нет. И последнюю заботу человек получает от государства. Номерами учтены и урны на складе крематория: не забранных после огня считают так же, как не забранных до земли.

Второй маршрут невостребованного тела обходится без траншеи. Закон об основах охраны здоровья граждан прямо разрешает отправить такое тело не на кладбище, а в медицинские вузы, на кафедры нормальной анатомии и в анатомические театры, для учёбы и науки. Норма эта благородная. Человек, за которым никто из живых не пришёл, напоследок оказывается полезен тем, кто будет лечить живых. Безымянных медицине не отдают, только тех, чью личность установила полиция.

Я видел такие препараты в учебной лаборатории: сосуды, налитые красным и синим составом, мышцы, разведённые пинцетом до последнего волокна. Студенты младших курсов разговаривают над ними тише, чем в коридоре. Кощунства я в этом не вижу, потому что научиться руками, а не по атласу, медицине больше негде. Беда в том, что благородную норму очень легко превратить в прейскурант. В Таганроге по нему платили живые, здесь доход снимают с мёртвых, и со стороны этого почти не видно.

В феврале 2026 года петербургские следователи задержали заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрея Кавецкого, а суд арестовал его и Станислава Маслова, учредителя фирмы «Анабиос». Статьи у обоих про взятку и превышение полномочий.

По версии следствия, бизнесмен каждый месяц платил патологоанатому полмиллиона рублей за то, чтобы сотрудников фирмы пускали в морг и отдавали им невостребованные тела. Выбирали тех, у кого не было ни родни, ни знакомых. По словам Telegram-канала «Похоронный траст», трупы забирали поздно вечером у заправки из труповозки, следовавшей в крематорий, куда они уже не доезжали.

Из тел извлекали органы и костную ткань. Учились на них в основном танатопрактики, то есть мастера, которые готовят покойника к прощанию. Одна ученица потом признавалась: «И на брошенных телах, «отказниках», мы тоже учились».

Голова в этом деле тоже имела свою цену. В 2025 году «Анабиос» заключил с казанским Межрегиональным клинико-диагностическим центром контракт на аренду шести человеческих голов для учебных занятий, по шестьдесят две тысячи рублей за каждую. Фирма уверяла, что материал американский, а в документах госзакупки производителем значилась Россия. Если обвинение подтвердится, полмиллиона в месяц были для заведующего просто регулярным доходом с товара, который не требовал закупки.

Жадность меня здесь не трогает, она понятна и банальна. Добивает другое: как трудно сформулировать, в чём именно состоит преступление. Законным путём это тело медицине не досталось бы вовсе, а легло бы в траншею, как в Челябинске. Те, кто учился на этих телах, наверное, действительно чему-то научились. Казалось бы, вся разница в бумажке.

Разница действительно в бумажке, и есть она не везде. Где порядок чётко прописан, кафедре тело передают безвозмездно, по письменной заявке вуза и с разрешения тех, кто назначал судебную экспертизу. Пользоваться им можно только положенный срок, а потом его хоронят по закону о погребении. Человек при этом остаётся пусть безымянным для студентов, но тем, с кем обращаются по правилам, написанным заранее и для всех. Для больничного морга право записали, а механизма не дали, и в пустоту пришёл рынок.

По версии следствия, заведующему платили за открытую дверь морга, и умерший человек переставал быть кем бы то ни было. Он становился сырьём с нулевой себестоимостью и вполне определённой отпускной ценой, которую назначала уже фирма. Потому и статьи в деле про взятку: раз родственников нет, формально ущерб никому не причинён. Как только появляется выручка, невостребованность перестаёт быть учётной единицей и становится ресурсом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.